

Но, прежде чем познакомился я с Маяковским, о нем пришлось немало поразговаривать. Мой собеседник был человек осведомленный в футуризме и вместе с тем «враг» Маяковского. Причем, в отличие от обывательской вражды, я столкнулся с оппозицией к Маяковскому «слева». Это сбивало с толку и ставило в тупик. Но в конечном итоге только усиливало к Маяковскому интерес.

В младших классах французский язык преподавал нам некий М. А. Зданевич. Было известно, что у него два сына: один — художник, другой — пишет стихи. Поэт Зданевич кончал гимназию, когда я ее начинал. Встречать мне его не приходилось, да и велика была разница в возрасте. И вот осенью тринадцатого года я узнаю, что молодой Зданевич, петербургский студент, — активный участник футуристского движения. В одном журнальчике я наткнулся на его фотографию с узорами на щеке и вокруг глаз. Сообщалось о прочитанной им лекции, закончившейся крупным скандалом. Приводились отрывки «Манифеста» с призывом к размалевыванию лиц. Его имя связывалось с Н. Гончаровой и М. Ларионовым, известными как художники крайне левые. Ларионов проповедывал тогда «лучизм» — живопись, сложенную из разноцветных штрихов и полосок. Зданевич также теоретизировал на эту тему.

Правда, обнаруживалось из газетных сообщений, что данная группа величает себя не футуристами, а «всеками». «Всечество» объявлялось дальнейшим шагом. Считалось, что и футуризм уже устарел. Разобраться во всем этом трудно. Так или иначе, Зданевич — первоисточник. Живой, обруганный печатью провозвестник новых форм. Он подолгу гостил в Тифлисе. Через его отца я познакомился с ним. Поэт оказался чрезвычайно низкорослым.

К тому же он сильно сутулился. Большая голова, довольно правильные черты лица, пристальные, едкие, отливающие синевой глаза. Был он аккуратно причесан на прямой, точно разделяющий светлокаштановые волосы пробор. Всегда очень строго одет. На всем облике его налет фатовства. Говорил, сильно картавя, резким, уверенным тенором. Фразы отчеканивал категорически, возражения принимал язвительно.

На нем стоит остановиться, чтоб показать всю пестроту тогдашнего «левого» искусства. Едва народившись, оно разбилось на школы, враждовавшие и конкурировавшие между собой. Люди переходили из лагеря в лагерь, иногда кляли друг друга, иногда объединялись. Таков был кратковременный союз Северянина, возглавлявшего «эгофутуризм», с «кубофутуристами» Маяковским и Бурлюком, — союз, закончившийся полным разрывом. Группки и подгруппки пытались одна другую перекри-

чать, привлечь к себе внимание публики. Закон капиталистической конкуренции проявлялся в этой мелкой борьбе. Илья Зданевич числил себя в самых левых и, разумеется, отрицал всех, кроме своих. Это было для него тем удобней, что его группировка состояла из художников. Он, будучи в ней единственным поэтом, не боялся соперничества друзей.

Сидя в кресле, развалившись на тахте или разгуливая по комнате, засунув руки в карманы коротеньких полосатых брюк, похожий на странную заводную куклу, Зданевич любил основательно поговорить. Или на улице, когда выходил он прогуляться, казавшийся еще меньшим, чем в квартире, под серой шляпой, в широком пальто, в карманы которого иногда всовывал он купленные на углу фиалки. Или в восточных кварталах города, в персидском кабачке после острейшего «кябаба», посасывая мундштук кальяна, стеклянная башенка которого была почти такой же высоты, как сам Зданевич, — всюду продолжал он свой ядовитый монолог. Может быть, рад был он, что обрел в Тифлисе слушателя, и ему все равно было кого поучать.

С тех пор я никогда не встречал столь законченного литературного нигилизма. Причем, в отличие от других, Зданевич казался искренним. Футуристы тогда многое отрицали, многих сбрасывали «с парохода современности». Чаще всего это был полемический прием, и тот

же Маяковский в своей среде охотно цитировал классиков. Зданевич же при имени Пушкина кривился. Глубочайшее презрение проступало на выхоленном его, гладко бритом и запудренном лице. Солнце русской поэзии, — картавил он с отвращением. — Это солнце морочения голов. Дальше шло изощренное издевательство. Футуристы доказывали, что Пушкин устарел, что его язык не приспособлен для передачи современных переживаний и состояний. Такую позицию можно было понять. Для Зданевича же Пушкин был преступником, человеком, умышленно запятнавшим искусство. Поймать с поличным, вывести на чистую воду, поставить Пушкина к позорному столбу. До сих пор загадочно для меня, как могло произрасти и развиться столь уродливое, извращенное воззрение.

Расправа с Пушкиным не требовала особых усилий. Зданевич производил ее мимоходом. Все последующее, вплоть до современников, разумеется, отвергалось также. Но предстояла и более животрепещущая задача — разоблачить тех, кого публика представляла соратниками. Обличить их в подделке и трусости, произнести заклеивающий приговор. С вдохновением призванного следователя Зданевич уличал и обвинял. Маяковский — жалкое подражание Брюсову. Ведь и Брюсов писал урбанистические стихи. Маяковский слегка освежает метафоры, оставляя нетронутым весь строй стиха. То же

размеры и рифмочки — старые, приевшиеся побрякушки. Стрельба холостыми зарядами. От Маяковского нечего ждать.

Однажды Зданевич вытащил только что вышедшую первую тетрадь стихов Пастернака. Наклоня близорукое лицо над страницами, Зданевич потирал руки. Меня не проведешь. Перекрашенный символизм — таков был смысл его придиричивых высказываний. Знаю, откуда все украдено. Анненский — источник этих стишков. Устанавливая связь «Близнеца в тучах» с Анненским, Зданевич не был неправ. Но связь им считалась преступной. Тайная связь, и вот она обнаружена. Пастернаку не провести Зданевича. Злостный обман раскрыт.

Только о Хлебникове стоит говорить, но и тот bestолков и расплывчат. Чего стоят его огромные поэмы, его архаика и наивная филология? Товар и тут не вполне доброкачествен. А Северянин — просто навоз.

Разрушать следует беспощадно. Все — и ритм, и прежние принципы рифмовки. Да здравствует заумь, но организованная, а не случайная, какую предлагает Крученых. В чем была положительная программа Зданевича — и теперь я не решусь установить.

Несколько позже, когда началась мировая война, Зданевич читал мне свою новую поэму. Она посвящалась памяти летчика, разбившегося на западном фронте. Стоя у конторки, до крышки второй едва достигал Зданевич лицом, он

произносил, вернее выкаркивал резким тенором полузаумные, частью звукоподражательные фразы. В его чтении вещь производила некоторое впечатление. Это было что-то вроде ритмической прозы с внутренними рифмами и ассонансами. В задачу входило передать рокот моторов, взрывы бомб, треск ружейной перестрелки. Слоги сталкивались, скрежетали и лопались. Вещь была сухой, как скелет. Однако скелет двигался и жестикулировал. «Браво, Гарро!» — картаво выкрикивал Зданевич. Таков был единственный слышанный мною его опыт. Оставлял он неопределенное раздражающее впечатление. Куда двигаться после таких стихов? Неужели только заумь новый путь?

Через много лет, после революции, мне попалась изданная Зданевичем поэма. Или пьеса, сейчас трудно сказать. Читать ее было невозможно. Вереницы бессмысленных, непонятно по каким признакам сцепленных фраз.

Надо сказать, Зданевич был последовательным отрицателем. Именно в этом он себя находил. В первые военные месяцы германские пушки грозили Реймскому собору. Зданевич ходил именинником. Хорошо, что уничтожают старье. Он, действительно, лично был доволен. Даже готовил он какой-то манифест, приветствовавший подобный акт.

Единственно, что признавал он, кроме себя, — несколько друзей своих, левых художников. Возможно, вообще он поэзию не любил,

отдавая предпочтение живописи. В одну из самых первых наших встреч он стал натаскивать меня на картины Пиросманишвили. Он собирал и скупал по духанам холсты и доски этого прославленного теперь, замечательного мастера Грузии. В ту пору о нем не знал еще никто. Пиросманишвили пропадад в качестве трактирного и вывесочного живописца. Зданевич посылал работы его в Петербург на выставку левых «Трамвай Б». И прочел мне Зданевич свою статью о Пиросманишвили, помещенную в какой-то газете, полную несвойственных автору восторженных утверждений и похвал.

Живописные интересы в доме Зданевичей были, пожалуй, живее литературных. Тому способствовал и приезд брата Кирилла, художника, учившегося в Париже. Кирилл имел какое-то отношение к мастерским Пикассо. Первую настоящую «левую» картину я видел именно у Зданевичей. Называлась она «Танго» — большое оранжевое кубистическое полотно.